

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

Глава 28. “Русское дело” Н. Клюева”

“Стая поджарых газет”, о которых писал Клюев в “Плаче о Сергее Есенине”, пополнилась ещё одним “воителем” – бывшим другом, “наставником” и “рачителем” (так ещё вроде недавно надписывал ему книгу Есенин) Сергеем Городецким. В журнале “Советское искусство” Николай мог прочесть о себе нечто совершенно в князевском духе.

“Гибель Есенина совершенно расстроила ряды крестьянской поэзии. Он был самый сильный и самый талантливый, и всё же он погиб на перевале от старого к новому. На плечи его товарищей по группе легла тяжёлая и, кажется, непосильная задача продолжить начатое им дело. Старший его товарищ, Николай Клюев, не подаёт никаких надежд. Он целиком и до сих пор покоится в иконах, лампадах и свечах. Изобразив в своё время Кремль, как Китеж, и увидев в Ленине “керженский дух”, он дальше не пошёл, и ничего, кроме старых песен, мы ждать от него не можем. В таком же положении находится Сергей Клычков, ближайший сверстник Есенина. Песня его отравлена надрывом и старой деревенской мистикой”.

К этому словоизвержению разум уже начал привыкать, хотя непросто было смириться с “воскрешением” Городецкого-предателя, памятного ещё по истории с “Красой”. Но тут же в “Новом мире” – новое сочинение Сергея Митрофанюча, словно зайчиком без остановки прыгающего с одной лужайки на другую: “неозызычник” – акмеист – “крестьянский поэт” – советский пропагандист.

Это уже были “воспоминания” о Сергее Есенине, в которых путалось и искажалось всё, что можно было перепутать и исказить.

“...Была ещё одна сила, которая окончательно обволокла Есенина идеализмом. Это – Николай Клюев... Чудесный поэт, хитрый умник, обаятельный своим коварным смирением, творчеством вплотную примыкавший к былинам и духовным стихам севера, Клюев, конечно, овладел молодым Есениным, как овладевал каждым из нас в своё время. Он был лучшим выразителем той идеалистической системы, которую несли все мы. Но в то время как для нас эта система была литературным исканием, для него она была крепким мировоззрением, укладом жизни, формой отношения к миру... У всех нас после при-

падков дружбы с Клюевым бывали приступы ненависти к нему. Приступы ненависти были и у Есенина: Помню, как он говорил мне: “Ей-богу, я пырну ножом Клюева!” Тем не менее Клюев оставался первым в группе крестьянских поэтов... Я назвал всю эту компанию и предполагавшееся ею издательство — “Краса”... “Краса” просуществовала недолго. Клюев всё больше оттягивал Есенина от меня. Кажется, он в это время дружил с Мережковскими — моими “врагами”. Вероятно, там бывал и Есенин...

Можно было читать — и диву даваться. Чего стоит одно это “пырну ножом” — ещё неизвестно, сказанное ли в действительности Есениным! Но пронзает память Клюева страшная догадка — зря, что ли, родились тогда строки “Жертва Годунова, я в глуши еловой восприму покой...” Но дальше — “дружба с Мережковскими”, в которой, “кажется”, Городецкий так и уличает Клюева! С Мережковскими — самыми лютыми врагами Николая в символистском кругу... И в более спокойное время прочитать о себе такое — мало радости. А сейчас — в 1926 году — воспринимается, как прямой политический донос.

И это ещё не конец. Городецкий жалуется на то, что “Ключи Марии” Есенина “не были разбиты” критиком К. (естественно, Князевым. — С. К.) по линии философии... А дальше пишется “путь спасения” заблудившегося в непроходимой “клюевщине” Сергея:

“Имажинизм был для Есенина своеобразным университетом, который он сам себе строил. Он терпеть не мог, когда его называли пастушком Лелем, когда делали из него исключительно крестьянского поэта... Он хотел быть европейцем... И вот в имажинизме он как раз и нашёл противоядие против деревни, против пастушества, против уменьшающих личность поэта сторон деревенской жизни... Быт имажинизма нужен был Есенину больше, чем жёлтая кофта молодому Маяковскому. Это был выход из его пастушества, из мужичка, из поддёвки с гармошкой. Это была его революция, его освобождение. Здесь была своеобразная уайльдовщина. Этим своим цилиндром, своим озорством, своей ненавистью к деревенским кудрям Есенин поднимал себя над Клюевым и над всеми остальными поэтами деревни... Есенинский цилиндр потому и был страшнее жупела для Клюева, что этот цилиндр был символом ухода Есенина из деревенщины в мировую славу...”

В этом пассаже, помимо всего прочего, присутствовала и еле скрытая подлость, рассчитанная именно на Клюева. Городецкий очень расчётливо переадресовал самому Есенину его сравнение Клюева с Уайльдом в “Ключах Марии” — причём, если Есенин снижал Клюева эти сравнением, подчёркивая “крестьянский эстетизм” Николая, то Городецкий возвышал здесь Есенина над всем крестьянским миром...

Читать всё это Клюеву было особенно тяжело — летом 1926-го он был опасно болен, перенёс две операции, чудом выжил после заражения крови. Нищий, безденежный, потративший все сбережения на врачей и санитаров, писал письма и в Московское и в Ленинградское отделения Союза писателей, прося помощи, которую так и не получил.

Оставалось ради хлеба насущного расставаться с самым дорогим. В это время он начинает продавать отдельные иконы и рукописные книги.

В декабре он ответил на письмо Сергея Клычкова.

“...Я никогда не обращался в союз за помощью, я горд был этим. В страшные голодные годы от меня никто не слышал просьб. Но сейчас я очень слаб. Ходить не могу, — а если и хожу, то это мне дорого обходится. Помоги, Сергей Антонович. Пострадай за меня маленько. Век не забуду. От многих умных и уважаемых людей я слышу негодование на статью Городецкого в “Новом мире” об Есенине и обо мне. Следовало бы “Новому миру” отнестись осторожнее к писаниям Городецкого и, глубоко уважая его честность и преданность красному знамени, принять во внимание и моё распутиное бытие. **Я ещё по/ка/ не повесился и не повешен** (выделено мной. — С. К.), и у меня есть перо и слова более резонные и общественно нужные, чем статья Городецкого. Или “Новый мир” этого не допускает и считает моё убожество неспособным тягаться с такими витязями, как Городецкий? Или всё это вытекает из общего понимания, что шаферы нужнее художников? Я бы сердечно хотел с тобой повидаться, ты ведь остался из родных поэтов для меня последним, но у меня нет денег на проезд в Москву... У меня в Москве негде головы преклонить. Прошу тебя — поговори с “Огоньком”, не издаст ли он книжечки

моих стихов. Дал бы любопытный материал под интересным названием... Пришли мне свой новый роман, я им – очень – по отрывкам обрадован. Извини, что всё письмо пересыпаю просьбами, но видишь, как я встревожен. Есть нечего. Из угла гонят. Весь износился...”

Летом 1926 года Максим Горький напишет из Сорренто Алексею Чапыгину: “Дорогой друг,

Прочитал я в очередной книге “Кр/асной/ нови” “Разина” и снова изумлён, снова с праздником. Человек, который сказал вам: “Да, это новый тип исторического романа”, – сказал неоспоримую правду. Так оно и есть, – до “Разина” такой книги в русской литературе не было... “Разин” – колоссальное создание истинного художника – под таким титулом эта книга и будет внесена в историю русской литературы. Я – едва ли доживу до этой записи, но вы-то, дорогой человек, наверное, доживёте. Мне хочется, чтоб дожили... Хорошие, удивительные люди вы, северяне... Моя Венера – Орина Федосова, маленькая, кривобокая старушка, олонецкая “сказительница” былин... Она дала мне то, чего ни до, ни после я не испытывал... И вот сейчас, читая “Разина”, я переживаю почти тот же потрясающий восторг, невыразимое словами волнение и радость за вас, и зависть к вам...”

И в самом конце письма, помянув “удивительных северян”, не мог Горький не вспомнить хотя бы одной фразой о Клюеве в череде других имён: “Что делает Клюев?”

И Чапыгин ответил – что же делает его собрат.

“Есть здесь у меня драгоценный человек, некто Вас/илий/ Вас/ильевич/ Гельмерсен – большой знаток старонемецкого и нового языков. Он, например, прекрасно переводил на немецкий язык Клюева, чего другие переводчики делать почти не могут. И вот Гельмерсену очень хочется перевести “Разина” современным веку языком на немецкий... Клюев – захирел, ибо ему печатать то, что он пишет, негде, а когда делает вылазки в современность, то это звучит вместо колокольного звона, как коровий шаркун, последнее время даже иконы писал, чтобы заработать хоть что-нибудь. Теперь он где-то в деревне, но не в Олонецкой, а в Новгородской...”

Когда Чапыгин писал это письмо, Клюев жил в деревне Марьино Новгородской губернии, страдаемый тяжкой болезнью. Но и после больницы его положение по сути не изменилось...

Когда Чапыгин писал о “вылазках Клюева в современность”, он, естественно, имел в виду клюевские “новые песни”, печатавшиеся в “Звезде”, “Красной газете” и “Прожекторе”... Публикации “нового” продолжались и в 1927 году. Одновременно с “Заозерьем”, “Деревней” и “Плачем о Сергее Есенине” читатель наслаждался гимном пионерской юности.

*Мой галстук с зябликами схож,
Румян от яблонных порош,
От рдяных листьев Октября
И от тебя, моя заря,
Что над родимую страной
Вздымаешь молот золотой!*

Перевоплощение идеальное! И своего рода пример для всей последующей “пионерской поэзии”... Личина, не ставшая лицом, но выглядящая, как настоящее лицо!

Правда, следующее стихотворение “Корабельщики” пришлось отдать в печать в отредактированном виде. Слишком очевидна была злая ирония уже в первых строфах:

*Мы, пролетарские поэты,
В водовороты влюблены,
Стремим на шквалы и кометы
Неукротимые челны.*

*И у руля, презрев пучины,
Мы атлантическим стихом
Перед избушкой две рябины
За Пушкиным не воспоем.*

*Нам ненавистна глушь Чарджуев,
Где вороньё — поводыри,
Пускай песнобородый Клюев
Бубнит лесные тропари.*

В результате первая строка приняла иной вид: “Мы, корабельщики-поэты”... “Пушкин” был заменён “вьюгою”, а третья строфа вообще исчезла. В итоге — никакой иронии, никакой литературной полемики. Одно восхищение новой советской поэтической генерацией:

*Познав веселье парохода
Баякать песни и тюки,
Мы жаждем львиного приплода
От поэтической строки.*

*Напевный лев (он в чревной хмаре)
Взревёт с пылающих страниц —
О том, как русский пролетарий
Взнуздал багряных кобылиц,*

*Как убаякал на ладони
Грозовый Ленин боль земли,
Чтоб ослепительные кони
Луга беззимние нашли...*

Да не снилось подобное в самых радужных снах ни Казину, ни Садофьеву, ни Светлову, не мечтали о такой поэтической мощи ни Тихонов, ни Твардовский, ни Смеляков, не говоря уже о прочих безыменских с алтаузенами... И разве что в самой последней строфе чуткое ухо различит диссонанс с общей торжественной мелодией — диссонанс, вызванный еле различимым ошеломлением от зрелища: что же это за племя на свет народилось?

*И вея кедром, росным пухом
На скрип словесного руля,
Поводит мамонтовым ухом
Недоумённая земля!*

А ведь это племя при полном параде выстроилось на страницах знаменитой “Антологии русской лирики первой четверти века” в составлении И. С. Ежова и И. С. Шамурина. Вот они все: Илья Ионов, Семён Родов, Г. Левлевич, А. Безыменский, Александр Жаров, Михаил Голодный... “Сколько их, куда их гонят? Что так жалобно поют?..”

Песни были, впрочем, отнюдь не жалобные. И воспевались, в самом деле, отнюдь не пушкинские “две рябины” и даже не “тонкая рябина” суриковская.

Эта эпоха требовала иных песен. А. Ясный, вождевший “укокошить” старую Русь, прозревал новую в иных статях и формах.

*Эх, ты, Русь, стальная зазнобушка,
Советская краля моя...
Забубённые наши головушки,
Забубённые наши края.*

*Теремок позабыла свой милая,
Во Кремле алый дом — Исполком,
Видно, скучно сидеть за сурмилами,
Что сменяла на серп с молотком.*

*Видно, хочется крале запевкою
Прозвенеть в алой песне веков...
Эй, Россия — озорная девка,
Принимай к нам гостей на поклон.*

Эта “кряля” и “озорная девка” скоро вспомнятся Клюеву... Кстати сказать, в этой антологии, где биографические справки составлялись со слов поэтов и по литературным источникам и, в основном, содержали стандартные биографические и библиографические сведения, Клюев приложил автобиографический текст в записи Павла Медведева:

“Жизнь моя – тропа Батыева. От Соловков до голубых китайских гор пролегла она: много на ней слёз и тайн запечатленных... Родовое древо моё замглоло коренем во времена царя Алексия, закурдрявлено ветвием в предивных Строгоновских письмах, в сусальном полуме пещных действ и потешных теремов. До Соловецкого страстного сиденья восходит древо моё, до палеостровских самосожженцев, до выговских неколебимых столпов красы народной...”

Контраст был разительный. А для Клюева предельно важным было помещение именно этого автобиографического куска в антологию, представившую всех – от символистов до пролетарских поэтов. Текста с прямым отсылком к самому началу романа П. Мельникова (Андрея Печерского) “В лесах”.

“Верховое Заволжье – край привольный... Судя по людскому наречному говору – новгородцы в давние Рюриковы времена там поселились. Преданья о Батыевом разгроме там свежи. Укажут и “тропу Батыеву” и место невидимого града Китежа на озере Светлом Яре... Цел град, но невидим. Не видать грешным людям славного Китежа... И досель тот град невидим стоит, – открывается перед страшным Христовым судилищем. А на озере Светлом Яре, тихим летним вечером, виднеются отражённые в воде стены, церкви, монастыри, терема княжеческие, хоромы боярские, дворы посадских людей. И слышится по ночам глухой, заунывный звон колоколов китежских. Так говорят за Волгой. Старая там Русь, исконная, кондовая. С той поры, как зачиналась земля Русская, там чужих насельников не бывало. Там Русь сысстари на чистоте стоит, – какова была при прадедах, такова хранится до наших дней. Добрая сторона, хоть и смотрит сердито на чужанина...”

...Переводы на немецкий, публикации в журналах и альманахах – и напряжённые попытки свести концы с концами.

“В московский отдел Всероссийского Союза писателей Николая Клюева.

Пролежав пять месяцев в больнице и перенеся две изнурительные операции, крайне нуждаюсь в материальной поддержке, о чём усердно прошу Московский союз писателей”.

“В Ленинградское отделение Всероссийского Союза писателей Николая Клюева.

Довожу до сведения Союза, что книгоиздательством “Прибой” куплена у меня моя поэма под названием “Плач об Есенине” (так! – С. К.) за сумму двести рублей (200 руб.), которые и уплачены мне упомянутым книгоиздательством в два срока – сполна. (Далее – подробное перечисление об израсходовании денег. – С. К.)... В настоящее /время/ я крайне нуждаюсь – нужно сносное питание, ежедневные перевязки и лекарства. О помощи усердно прошу Союз...”

Но и подачки от Союза – если они были – помогали мало.

* * *

“Новый роман” Сергея Клычкова, о котором писал ему Клюев, печатался в “Новом мире” на протяжении 1926 года и назывался он “Чертухинский балакирь”. В том же году роман сей вышел отдельным изданием с “конвойным” предисловием одного из самых ярых “напостовцев” Г. Лелевича.

Выход “Чертухинского балакиря” был встречен обилием рецензий (более двух десятков) авторов самых различных умонастроений – от Александра Воронского до комсомольского активиста Зорича.

Это нужно было кое-кому сильно напрячь нервы, чтобы без дрожи в руках и со спокойным дыханием прочесть в 1926 году удивительное клычковское повествование, овеянное духом тысячелетней Руси.

“Теперь у нас в леших не верят, да и леших самих не стало в лесу... потому, должно быть, их не стало, что в них больше не верят. А было время – и лешие были, и лес был такой, что только в нём лешим и жить, и ягоды было много в лесу, хоть объешься, и зверья всякого-разного как из плетуха насы-

пано, и птица такая водилась, какая теперь только в сказках и на картинках, и верили в них и жили, ей-Богу, не хуже, чем теперь живут мужики.

Должно быть, так уж это положено и иначе быть не должно и не может: потому, надо думать, и такое время придёт, когда не только леших в лесу или каких-нибудь там девок в воде, а и ничего вовсе не будет, кроме разве пней да нас, мужиков, потому что последний мужик свалится с земли, как с телеги, когда земля на другой бок повернётся, а до той поры всё может изгаснуть, а мужик как был мужиком, так и будет... по причине своей выносливости природы!..

Только тогда земля будет похожа не на зелёную чашу, а на голую бабью коленку, на которую, брат, много не наглядишь!..”

Так и видишь перед собой лукавую, прячущуюся в многолетнюю бороду улыбку рассказчика, старичка-лесовичка, возраст которого теряется в далах глухих, слышишь его смешливое побряхтывание, когда повествует он, об чём беседовал Пётр Кириллыч с лешим Антютиком на глухой лесной тропе, печальное посапывание, когда речь зайдёт о книге “Златые уста”, да невесёлые пророчества на будущее, и чем далее они – тем грустнее.

“Чёрт и человек не мешают друг другу, потому оба живут во уничтожение мира и жизни... ”

Не за горами пора, когда человек в лесу всех зверей передумит, из рек выморит рыбу, в воздухе птиц переловит и все деревья заставит целовать себе ноги – подрежет пилой-верезгой. Тогда-то железный чёрт, который только ждёт этого и никак-то дожидаться не может, привертит человеку на место души какую-нибудь шестерню или гайку с машины, потому что чёрт в духовных делах – порядочный слесарь.

С этой-то гайкой вместо души человек, сам того не замечая и ничуть не тужа, будет жить до скончания века!..”

Любопытно сопоставить эпистолярные отзывы на этот роман Максима Горького и Николая Клюева.

Горький, отчаянный противник “идеологии мужикопоклонников и деревенелюбов”, писал Пришвину с каким-то диким восхищением от лицемерия клычковской неукротимости: “Читали Вы роман Клычкова “Чертухинский балакирь”? Вот – неожиданная книга! Это – в 1926 г. в коммунистическом и материалистическом государстве!.. ”

Да – “Крепок татарин – не изломится!

А и жиловат, собака, – не изорвётся!”

Это я цитирую Илью Муромца в качестве комплимента упрямому россиянину”.

Это – письмо противника. Противника идейного и непримиримого.

А вот – письмо друга и единомышленника.

“Милый друг!

Сердечно благодарю тебя за добрые слова и за твои хлопоты! Низко тебе кланяюсь за твою прекрасную книгу “Балакирь”. После “Запечатленного ангела” это первое писание – и меч словесный за русскую литературу. Радуюсь и величаюсь тобой!” И после выражения радости – новая мольба о помощи:

“Усердно прошу и молю тебя не охладеть в желании устроить вечер в мою пользу (если на самом деле ты уверен в этой пользе для меня)... Союз действительно мне выслал, по Кириллову, 50 руб., но это было в прошлом году в конце марта-апреля. А теперь я не получал ничего от него кроме Тв/о/их 25 руб. Приветствую, благодарю, люблю и всегда ношу в сердце своём образ твой... Жадно, нетерпеливо жду ответа о вечере. Умоляю его устроить, это смертельно нужно. Кто ненавидит или любит меня – помогите!”

Но любящие голоса всё более заглушались голосами ненавидящими.

Уже прогремели на всю страну бухаринские “Злые заметки”, в которых есенинская поэзия была охарактеризована, как “причудливая смесь из “кобелей”, икон, “сисястых баб”, “жарких свечей”, гспода бога, некрофилии, обильных пьяных слёз и “трагической” пьяной икоты; религии и хулиганства... бессильных потуг на “широкий” размах (в очень узких четырёх стенах ординарного кабака)... всё это под соусом юродствующего quasi-народного национализма”. Бухарин на этом не успокоился. Сразу же после публикации он произнёс речь на XXIV конференции ВКП(б):

“Мы сейчас имеем оживление политической активности мелкобуржуазных слоёв, оживление по “национальной” линии, что принимает форму роста шови-

низма. Надо повести энергичную борьбу с великорусским шовинизмом, за последнее время особенно выпирающим в нашей литературе. Надо считаться с общим положением страны, с общим положением наших отдельных республик и, прежде всего, держать за ухо великорусский шовинизм.

... Сушим вздором являются разговоры о том, что будто наша партия хочет изменить свой курс по отношению к интеллигенции и перейти к “нормам”, которые существовали в 1918 году, что мы хотим интеллигентов посадить на селёдку и рассматривать как саботажников. При громадных задачах строительства потребность в научных, квалифицированных силах, работающих вместе с нами, будет непрерывно возрастать, и наше внимание к интеллигенции будет усиливаться. Но, конечно, мы должны бороться против различных процессов в интеллигентской среде, процессов, которые мы считаем отрицательными. Мы будем и наших дураков учить уму-разуму, тех, которые придираются к мелочам, усердствуют по части самых нелепых “оргвыводов”, но мы будем вести борьбу против всяких вредных идеологических тенденций. От нашей пролетарской линии мы отступать не собираемся”.

Выступление поистине замечательное по своему смыслу. Итак, с “нормами” 1918 года в отношении интеллигенции покончено раз и навсегда. Интеллигенция стала жизненно необходима. Но не вся. Носители “вредных” идеологических тенденций будут по-прежнему изолироваться. Само собой разумеется, среди них будут заражённые “великорусским шовинизмом”. Это и есть “отрицательный процесс” в интеллигентской среде, с которым призывает бороться Бухарин. “Дураков”, сторонников “оргвыводов” следует учить “уму-разуму”, а с “врагами пролетарской линии”, “шовинистами” необходимо бороться. Такая предлагалась программа.

То, что не расшифровал Бухарин, наглядно разъяснил в этом же номере “Вечерней Красной газеты” Александр Безыменский. Статья его называлась “Русское дело” Николая Клюева”, что недвусмысленно давало понять, кого именно на данном этапе необходимо считать “великорусским шовинистом” и “носителем вредных идеологических тенденций”. Вся безыменская инвектива была посвящена поэме “Деревня”.

“Что кулаки и кулацкая идеология существуют — спору нет. То, что она жаждет пробиться в свет — не подлежит сомнению. Но почему должны ей давать место советские журналы — это непонятно. Это обидно. Это больно”.

Далее Безыменский в самых восторженных тонах пишет о Бухарине, который “всей силой большевистского удара” обрушился на “шовинистов”, в частности, на стихи Павла Дружинина в “Красной нови”, “через которые кулацкая идеология просочилась явно”. Стихотворение Дружинина “Российское” стало для Бухарина лишь поводом к наступлению на поэзию Сергея Есенина, которого уже год не было в живых, но живы были его недавние соратники, “товарищи по чувствам, по перу”... Необходимо было создать вокруг них такую же атмосферу, в которой они не могли бы нормально жить и творить, создать все возможные предпосылки к тому, чтобы выбросить их из литературы, а в будущем и из жизни.

Безыменский пугал читателя тем, что “есть вещи и похуже”, чем упомянутое стихотворение Дружинина. “В журнале “Звезда” № 1 за 1927 год стихи Н. Клюева “Деревня”. Облик этого поэта известен. И Ленина он сумел окулачить... Но “ячменный лик” поэта обнажился до конца...” Далее Безыменский цитировал кровью сердца написанные строки Клюева:

*Будет, будет русское дело, —
Объявится Иван Третий
Попрать татарские плети,
Ясак с ордынской басмою
Сметёт мужик бородою!*

Комментарий к этим строчкам давался совершенно недвусмысленный: “Ой, держитесь, большевики! Ваши татарские плети и вашу басму сметёт бородою кулацкий Иван Третий. Вот оно, “русское дело” Н. Клюева!

... Всякому ясно, что злодеи-большевики, вскрыв мощи Серафима Саровского и прочих “утолителей печали и ран”, совершили, с точки зрения Клюева, страшное безобразия...

Дело ясное... И никакие “пирогошие” ухищрения Клюева не замажут этой кулацкой его правды.

Мы болеем лишь тем, что такие стихи (конечно, случайно) глядят на нас со страниц наших журналов. Не будем только констатировать. Будем это преодолевать”.

В “Комсомольской правде” Безыменский распоясался ещё пуще. Достаточно привести его комментарий к строчкам из “Плача о Сергее Есенине” (“Отцвела моя белая липа в саду. Отзвенел соловьиный рассвет над речкой. Вольготней бы на поклоне в Золотую Орду изведать ятагана с ханской насечкой...”)

“Ась? Товарищ Ленинградский гублит за № 26594? Родной мой! Да протрите глазыньки! Мы, конечно, верим, что кулаку вольготней изведать ятаган с ханской насечкой татарского ига, чем видеть страну пролетарской диктатуры, но вы тут при чём или ни при чём?... Мы ясно увидели лицо тех, которым вольготней целовать пятки ханов Золотой Орды, чем видеть советскую страну”.

Итак, один из главных носителей “чуждой идеологии” и “шовинизма” был назван: Николай Клюев, который через несколько лет в письме во Всероссийский союз писателей писал о “серых”, невоспитанных “для музыки слухов” людях, которые “второпях и опрометно” утверждают, что “товарищ маузер” сладкоречивее хородова муз”. В самом деле, эпиграфом к статье Безыменского, как и к “антишовинистским” выступлениям Бухарина вполне могла пойти строка “Ваше слово, товарищ маузер!”, причём слово “маузер” прочитывалось бы не в переносном, а в самом прямом смысле, что полностью подтвердили последующие события.

Прозвучал, однако, в открытой печати голос, категорически несогласный с вынесенным поэту приговором. Уже упоминавшийся Роберт Фёдорович Куллэ в “Вестнике знания” (№ 7, 1927 г.) выступил со статьёй “Поэт раскольничьей культуры”, отмечая все обвинения в адрес Клюева. Статья эта мало известна, так что стоит привести её в солидных выдержках.

“Там, в Олонецкой, Архангельской и Заволжской губерниях – до Урала и Сибири, в “лесах и горах”, у заповедных озёр, в водах которых “посвящённые” видели очертания затонувшего “Китежа-града”, хранились и накапливались богатства словесной руды, всегда золотоносной, всегда изобилующей густым, ярким, суггестивным символом. Былина, духовный и “цветной” стих, песня, сказка, заговор, приворот, загадка, заклинания живут и питаются корнями своей не только религиозно-исторической стихии, актуальной, как всё живое, и составляющей мироощущение, лишённой иных просветительных влияний среды, но и как большая, могучая культура словесного творчества, знающего грани между “низким”, ежедневным коммуникативным значением слова и его “возвышенным”, поэтическим значением, таким, к которому прибегают в совершенно особых, торжественных случаях...”

К сожалению, совершенно непонятым остаётся до сих пор наш крупный современный поэт Николай Клюев. Его мастерство, своеобразная поэтическая манера, кровно связанная со стихией народного творчества именно в его раскольничьем, культивирующем песенно-былинный сказочный стиль преломлении, его изумительная цветистость творческого слова, необычайная яркость его образов, таких нарочитых, сказочно-стилизированных – идут целиком от этой вековой “крестьянской” культуры...”

Только полным непониманием основных течений нашей литературной культуры можно объяснить “критику” Безыменского ... Поэтическое слово Клюева несёт в себе ту рудоносную концепцию крестьянской культуры, которая и Разина, и Пугачёва, и Ивана третьего и четвёртого понимает по-своему, преображенно, в каких-то обратных преломлениях, за которые мы судить поэта просто не вправе, как не вправе упрекать то или иное слово за его первоначальное значение, скрытое, но веющее древней тайной.

Ведь и “керженский дух”, обнаруженный в Ленине Клюевым, и “игуменский окрик в декретах” – только образы, говорящие определённой среде полно и суггестивно, но могущие стать подозрительными для мало знакомых с культурой нашего сказочно-мифологического севера критиков. И это совсем не “окулачивание” образа вождя революции, а только своя, единственно возможная в определённой среде концепция, величественная, если хотите, как величествен вообще словесно-поэтический подход поэта к явлениям, поразившим сознание, вошедшим в него острым углом.

Вся поэма (“Деревня”. – С. К.) говорит только о настроении современной северной раскольничьей деревни, её языком, её образами. Совершенно очевидно, что эти настроения не однородны у разных возрастных и классовых слоёв. Винават ли в этом поэт? Реакционен ли он поэтому?..”

Роберт Куллэ дал такую интерпретацию заключительным строкам “Деревни”, которая могла бы убедить противников Клюева и сомневающихся, что поэт в самом деле пишет “о победе новой стихии над старой, жизни над застойностью”... Но финал статьи прозвучал мощным аккордом в унисон клюевскому финалу в его изначальном смысле:

“Ведь надо же понять, что именно в этой среде – хранительнице жемчужной россыпи сказочных слов, величавых образов, нарочитых приговоров и кровно-почвенной мужичкой культуры, – наиболее уместны недоумённые вопросы, выраставшие как грибы, на почве вечных гонений, преследований, аввакумовских бунтов, двуперстных знамений, нескончаемых схоластических споров, неутомимой бунтарской религиозной мысли, искавшей – страстно и мучительно – воплощений в магическом, покоряющем слове...”

Эти слова звучат совершенно по-особому, если связать их с декларацией Российской православной церкви того же года.

Заместитель Местоблюстителя митрополит Сергей (Страгородский) и Временный Патриарший синод утверждают лояльность Церкви к советской власти, несовместимость христианства и марксизма, полное отделение Церкви от государства.

А весной 1928 года Клюев начал работу над одним из своих вершинных произведений – поэмой “Погорельщина”, что вошла в классический свод русской и мировой поэзии.

Ленинградские современники Клюева рисовали его чрезвычайно разным, казалось, что перед глазами различных людей прошла вереница персонажей, совершенно не похожих друг на друга. А проходил один и тот же человек.

Зоя Дыдыкина, дочь известного скульптора, вспоминала полноватого мужчину с молодежавым лицом в рубашке навыпуск, вышитой по вороту и рукавам крестиком, с коричнево-малиновым пояском, также вышитом крестиком, мужчину, который рассказывал сны, в которых оживал его пояс, превращался в змею, коброй обвивался вокруг ножки стола. Девочка потом кричала от страха всю ночь.

Дочь Николая Бруни рассказывала о старике, который криком кричал, читая “Поддонный псалом”, а закончив, хитровато поглядывал на неё, и та опрометью неслась в кухню и забивалась в самый дальний угол – только бы этот старик до неё не добрался.

Ошеломительное впечатление производил Клюев не только на детей.

Читаешь Леонида Борисова – и перед глазами встаёт порочный старикашка, не переносящий рядом с собой женского общества.

Читаешь Игоря Запалова, записи рассказов его матери – и совершенно иная картина: “Он всегда был подчёркнуто вежлив, корректен, особенно с женщинами, – вспоминала мама. – И наверно из ревности, что ли, Леонид Борисов, наш общий друг и знакомый, незадолго до смерти писал, что, выходя в дружеской компании, Клюев не мог терпеть присутствия особ прекрасного пола. Ему, мол, всегда хотелось читать, когда не было дам или их было немного... Разве мог бы поэт, равнодушный и презирающий женщину, написать такие шедевры, как “Ты всё келейнее и строже”, “Любви начало было летом”, как посвящённые горячо любимой им матери Прасковье Дмитриевне “Избяные песни”...”

Александра Ивановна Вагинова и Виктор Мануйлов запомнили Клюева, как интереснейшего рассказчика и собеседника. “Клюев начал рассказывать о своих летних странствиях на Печору к старообрядцам, к сектантам, которые до прошлого года жили настолько уединённо, что даже не слыхали о советской власти, о Ленине. Николай Алексеевич был одним из немногих, кто знал, как добраться до отдалённых северных скитов по тайным тропинкам, отыскивая путь по зарубкам на вековых стволах. Он рассказывал, как в глухих лесах за Печорой, отрезанные от всего мира, живут праведные люди, по дониконским старопечатным книгам правят службы и строят часовенки и пятистенные избы так же прочно и красиво, как пятьсот лет тому назал...”

“Я помню, как Клюев рассказывал, – вспоминала жена Константина Вагинова, – что когда решили вывезти из Соловков всех, кто там сидел, в другие места, то оказалось, что они сделали там изумительный музей.”

Собрали старые иконы, всякие церковные архивы. И вот всех узников увезли, а Соловки отдали Морскому ведомству. Приезжал адмирал – прошёл-ся, увидел все эти витрины с иконами, книгами, и приказал бросить всё в реку, и иконы плыли по воде. Вода приносила их на берег, а жители встречали колокольным звоном. Ключев этому сам был свидетель...”

Зое Дыдыкиной запомнилась комната Ключева вся в книжных стеллажах и иконах, освещаемая свечами и с телефоном на столе. Геннадия Гору поцудилась “изба, по брёвнышку перенесённая из Олонецкой губернии и собранная заново, размещившаяся в петербургской квартире”, в которой “между брёвен торчал мох”, а “из щелей выполз таракан”... Таракан, которого в помине не могло быть у Ключева, содержавшего своё жилище в идеальной чистоте.

“Но вдруг словно кто-то нажал на рычаг машины времени. Олонецкая изба понеслась в XX век. Бабий, деревенский окаяющий голос Ключева мгновенно изменился, по-интеллигентски заграссировал.

– Валери Ларбо, – сказал этот уже совершенно новый, другой, неожиданный Ключев, – Жак Маритен... Читали ли вы, советские студенты? Не читали? Так о чём же с вами спорить? О сочинениях Пантелеймона Романова, что ли?”

Скажем прямо, больно уж эта сцена напоминает “классическую” из “Петербургских зим” Георгия Иванова с “Отелем де Франс” и “Гейне в подлиннике”.

Но прослеживается и нечто иное: в первую очередь ощущаешь абсолютную пронизательность Ключева, мгновенно углядевшего, что советские студенты пришли полюбоваться на “диво невиданное”, всплывшее в современности невесть из каких времён... Пощекотать нервы “экзотикой”... Тут же осадил, оглушил “контрастом”, мгновенно дал понять, как ни во что не ставит очередную писательскую “звезду”, прославившуюся рассказами “Без черёмухи” и “Товарищ Кисляков” (зачитывались все комсомольцы) и указал – кого бы надо прочесть молодым да ранним.

Даниил Хармс огорошил своих собеседников рассказами о Ключеве, который читал наизусть по-немецки отрывки из “Фауста”. Он же стал свидетелем сцены, когда их с Николаем Алексеевичем не пускали в ресторан из-за того, что Ключев был в поддёвке, а тот, мгновенно распрямившись, подхватил одну даму, и прямо на ходу в ресторанный зал сделал с ней под музыку несколько классических проходов... Присутствующие так и замерли.

Совершенно по-иному отреагировал на Ключева Николай Заболоцкий.

В воспоминаниях Игоря Бахтерева описывается визит Николая Заболоцкого в гости к Николаю Ключеву. Причем, судя по этим воспоминаниям, молодые поэты пришли, изначально настроившись на зрелище. И их любопытство было удовлетворено полностью.

Ключев встретил обериутов в своей неизменной поддевке и смазных сапогах, заговорил с ними елейным голосом, предложил угощение. Заболоцкий смотрел-смотрел – и выдал нечто вроде следующего: “Николай Алексеевич, мы с вами поэты, серьезные люди, к чему весь этот маскарад?” Ключев, обронивший до этого “сказывай, Николка, сказывай, от тебя и терний приму”, – мгновенно изменился. Холодными глазами воззрелся на сопровождающих: “Вы кого ко мне привели? Али я не хозяин в своем доме? Могу и канкан сплясать”. И тут же продемонстрировал знание канкана.

Бахтерев, зафиксировав эту сцену через много лет, подводил читателя к мысли о полном неприятии бесхитростным Заболоцким какого бы то ни было притворства. Но дело не в “бесхитростности” Заболоцкого и не в “притворстве” Ключева, которого, судя по всему, обериуты на дух не переносили. Заболоцкий, как бы он ни относился к Ключеву по-человечески, находился под его огромным поэтическим влиянием в конце 20-х и в первой половине 30-х годов. Это, в отличие от многих литературоведов, тонко прочувствовал великий русский композитор Георгий Свиридов, о котором когда-нибудь будет написано фундаментальная работа под условным названием “Свиридов – читатель русской классической поэзии”. В своих записных книжках он не единожды обращался к имени и поэзии Ключева и, в частности, оставил любопытную запись.

“Влияние Ключева не только породило эпигонов, имена которых ныне забыты. Его мир вошел составной частью в творческое сознание: Блока, Есенина, Александра Прокофьева, Павла Васильева, Б. Корнилова и особенно, как ни странно, – Заболоцкого в его ранних стихах, Николая Рубцова”.

Эту же мысль Георгий Свиридов повторил в письме к Сергею Субботину от 14 ноября 1980 года: “Повлиял Клюев и на А. Прокофьева (ранние, лучшие его стихи), и на Заболоцкого (как это ни странно), и вообще на многое в литературе”. Причем дважды повторил слово *странно* в применении к мысли о влиянии Клюева на Заболоцкого. Видимо, было ощущение властного воздействия клюевского мира на поэзию, казалось бы, безнадежно далекого от него и даже чуждого поэта. Но в чем это воздействие проявилось – Свиридов не расшифровал.

А между тем весь фантазмагорический кошмар “Столбцов” исходит не только из гоголевских видений “Невского проспекта” и “Носа”, о чем уже говорили некоторые исследователи. Неявное, но сильное соприкосновение с предреволюционными стихами Николая Клюева из первого тома “Песнословия” становится очевидным при углубленном сопоставлении.

*Помню столб с проволокой гнусавою,
Бритолицых табачников нехристей;
С “Днесь весна” и с “Всемирною славою”
Распростился я, сгинувши без вести.*

*Столб кудесник, тропка проволочная
Низвели меня в ад электрический...
Я поэт — одалиска восточная
На пирушке бесстыдно-языческой.*

*Надо мною толпа улюлюкает,
Ад зияет в гусаре и в патере,
Пусть же керженский ветер баюкает
Голубец над могилою матери.*

(Николай Клюев)

“Ад электрический” и “пирушка бесстыдно-языческая” правят свой бал в “Столбцах”, где господствует пир уродливой плоти, калейдоскоп утративших органическую связь друг с другом разрозненных деталей городского пейзажа, наводя на мысль о сущей обреченности человека в этом мире смерти и распада.

*Мужчины тоже все кричали,
они качались по столам,
по потолкам они качали
бедлам с цветами пополам;
один — язык себе откусит,
другой кричит: я — иисусик,
молитесь мне — я на кресте,
под мышкой гвозди и везде...
К нему сирена подходила,
и вот, колено оседлав,
бокалов бешеный конклав
зажегся как паникадило...*

Оба они – и Клюев, и Заболоцкий – были внимательными читателями “Философии общего дела” Николая Федорова. “Город есть совокупность небратских состояний” – эту федоровскую мысль Клюев воплощал в своей поэзии в плане эсхатологическом, описывая в цикле “Спас” пришествие Христа на стогны предреволюционного Петербурга.

*Питер злой, железногрудый
Иисусе посетил,
Песен китежских причуды
Погибающим открыл.*

*Петропавловских курантов
Слушал сумеречный звон,*

*И “Привал комедиантов”
За бесплодье проклял он.*

Через считанные год-два в “Медном ките” бесплодный Петербург обретает черты совершенно апокалиптические.

*Всепетая Матерь сбежала с иконы,
Чтоб вьюгой на Марсовом поле рыдать
И с псковскою Ольгой за желтые боны
Усатым мадьярам себя продавать.*

*О горе! Микола и светлый Егорий
С поличным попались: отмычка и нож...
Смердят облака, прокаженные зори,
На Божьей косице стоголавая вошь.*

И еще через 10 лет Заболоцкий, подхватывая эту отчаянную, остервенелую ноту, рисует свои “немые стогны града”, где злость и бесплодье уже настолько привычны, что можно лишь отстраненным взглядом, в котором сочетаются истерическое спокойствие и ироническая ухмылка, созерцать картины “нового нэповского быта”, который уже спустя десятилетия воцарился в Петербурге, бандитском и разграбленном, помпезно отмечающем свое 300-летие. Фантасмагории поэта обретают в современной реальности новую зримую плоть.

*Качались кольца на деревьях,
опали с факелов отрепья
густого дыма, а на Невке
не то сирены, не то девки —
но нет, сирены — шли наверх,
все в синеватом серебре,
холодноватые — но звали
прижаться к палевым губам
и неподвижным, как медали.
Но это был один обман.*

.....
*Вертя винтом, шел пароходик
с музыкой томной по бортам,
к нему навстречу лодки ходят,
гребцы не смыслят ни черта;
он их толкнет — они бежать,
бегут-бегут, потом опять
идут-зазорные-навстречу.
Он им кричит: я искалечу!
Они уверены, что нет...
И всюду сумасшедший бред.*

А еще через несколько лет в статьях литературных критиков Заболоцкий и Клюев будут обвинены в кулачестве за поэмы, по смыслу диаметрально противоположные друг другу. За “Торжество земледелия” и “Погорельщину”.

(Продолжение следует)